

МИХАИЛ ПОПОВ



КУБАНОЧКА,  
ИЛИ  
РУССКОЕ ТАНГО́

ПОВЕСТЬ-ТРАГИКОМЕДИЯ

1

Звали его Коля-Бесамомуча, иногда Коля-Муча, но чаще всего — Коля-Беса. Эта кликуха прилепилась к нему году в 50-м, когда знойное танго, вылетевшее из перегрето-хмельной бутылки под названием Аргентина, окружившись над планетой, долетело даже до Сибири.

“Беса-ме-е-е, — блял Коля своим ополовиненным от зубов ртом, — беса-само-му-у-ча-а...” Дальше слов он не знал и концовку припева восполнял речитативом, мыча “ла-ла-ла” или “зу-зу-зу” в зависимости от настроения. А настроение зэка зависит от объёма дневной пайки и, само собой, от того, где он нынче мантулит — на лесосеке с лучком-ширкалкой, на нижнем складе с багром да аншпугом либо на пилораме.

Это была не первая Колина ходка. По первой, когда зубы были целы, он попал перед самой войной и объяснял её просто: “по малолетке” или “по дурику”. При этом в детали не вдавался. Да и то, чего там числилось-то

---

*ПОПОВ Михаил Константинович родился в августе 1947 года. Окончил Ленинградский государственный университет, факультет журналистики. Автор трёх десятков книг. Произведения переведены на скандинавские языки, повесть “Последний патрон” — на английский. Повесть “Дерево 42-го года” экранизирована. Лауреат десяти литературных премий. Главный редактор журнала “Двина”. Живёт в Архангельске.*

тогда за ним? Спёр с прилавка горсть липких “подушечек” или пачку папирос “Сафо” — он и сам уже толком не помнил. Дали Коле тогда три года, учитывая чистосердечное раскаяние, возраст да улыбку ещё застенчивую, украшенную крупными, как рафинад, зубами. В процессе отсидки “за характер” ему добавили ещё три — тогда ведь с этим было просто: что там год-два, коли в большинстве “дел” счёт шёл на десятки, а то и “двадцать пять и по рогам”. Страна Советов ни в чём не знала предела, во всём держала “размаха шага сажени”, даром что от тех шагов штаны трещали, и задница голая сверкала.

Шёл 43-й год. Завершилась Курская битва. Красная армия переходила в наступление. Однако разворачивалось оно тяжело: немец дрался яростно, здесь и там возникали мощные очаги сопротивления. Кого бросать на прорыв? Ясно дело — штрафников. Но где их взять? Под Курском погибли многие штурмовые роты. Фронтные резервы проштрафившихся были исчерпаны. А мешкать нельзя — враг закрепляется. И тогда по особой команде пошёл запрос в исправительные лагеря: сидельцев, у кого не тяжкие статьи, — срочно в пополнение.

Дошла очередь до Коли. “На волю хочешь? — А то... — Тогда пиши...”. Все писали: “Смыть свой позор...”. Так написал и Коля, а слово “кровью” подчеркнул. Обращение Колино приняли — парень он был жилистый, хоть и отощавший на лагерной баланде. И отправили его прямоходом на передок.

Штрафная рота, в которую попал Коля, был напрочь выкошена под Орлом и по осени начала формироваться вновь. Новичка определили в пулемётный взвод, поставив вторым номером к пулемёту “Максим”. Тут-то его и заметил лейтенант Шелест, командир разведвзвода. Уж больно ловко Коля набивал патронами пулемётную ленту — так и сыпал, так и сыпал. “Где наловчился-то?..” — полюбопытствовал лейтенант, склонив над Колей свою фартовую кубаночку. “Маслята-то?.. — Коля широко улыбнулся, показав весь набор ещё крепких, как рафинад, зубов. — А там...” — и мотнул лопухой стриженной наголо головой. Где “там”, лейтенанту, служившему в штрафроте, объяснять было не надо. Бывший детдомовец, он посмотрелся и приютских блатарьков, и лагерных ухарей и, конечно, знал, что к чему: там — это где, рубясь на нарах в “очко”, “стос” или “буру”, сутками напролёт тасуют колоду и сдают карты.

Взвод разведки ещё только сбивался-собирался, бойцы не обвыклись, не освоились, не обрели ещё самых необходимых навыков, а сверху уже поступил приказ совершить рейд во вражеский тыл. Целью вылазки был железнодорожный пакгауз, расположенный на разъезде в тридцати километрах от линии фронта. Там, по оперативным данным, базируются мехмастерские танкового дивизиона. Предстояло разведать, какой матчастью располагает ремонтно-восстановительная база, каков состав ремонтной команды, её производительность, на основании этого определить резервы панцерсоединения, а уж после, если удастся, объект уничтожить.

В рейд, кроме лейтенанта и Коли, отправились ещё пятеро: бывший старшина, мужик лет сорока, который попал в штрафники за то, что менял “шило” на “мыло”, то есть спирт на сало, заначивая “наркомовскую норму”; узкоплечий боец неопределённого возраста, как потом выяснилось, бывший “форточник” по кличке Сверчок; двое братанов-самострельщиков, которые по малолетке избежали трибунала, — им ещё не было восемнадцати, — Фока и Фома, а ещё крепкий, широкоплечий, краснощёкий мужик по фамилии Лупандин — из дезертиров.

Линию фронта группа разведчиков пересекла на рассвете, проскользнув ужом по сухому болотцу. Всё прошло гладко — их не обнаружили. И уже выровняв дыхалку, разведчики устремились в глубь леса.

На первом же привале к Коле подсел Лупандин.

— Слышь, керея, — устроив “шмайссер” меж коленей, просипел он, — ты, толкут, с кича. — Рот этак прикрыл, будто щетину под носом теребит.

Коля мыкнул. Лупандин помолчал, потом, наклонив голову, будто ягодник оглядывает, предложил “рвать когти”: “Ежели ты блатарь, чего тут пухнуть? Дырку в тулове зарабатывать? А там, — он, понятно, имел в виду

чужую сторону, — можно не худо обустроиться. Как? Да просто. Со стволами и камешков, и золотишка можно надыбать. А хапанув рыжавья — махнуть дальше, в тёплые края, где не стреляют, где полно марух и птички чирикают”. Коля на это опять мыкнул, вроде как соглашаясь, но в то же время и выражая опаску: а ну как не выгорит?

— Не кикеую, керя, — заверил Лупандин. — Держись коцаного, — и, слегка повернувшись, подмигнул. Глаз, заметил Коля, у него мутный и такой же ржавый, как вода в застоялой лесной глазнице.

Чуть передохнув, отряд двинулся дальше. Впереди старшина, за ним лейтенант, дальше Фока, потом Сверчок, следом другой из братанов, потом Лупандин, а завершал цепочку Коля — почему-то именно его командир назначил замыкающим.

Путь отряда пролегал через глухомань, по едва заметным звериным стёжкам. Всякий шорох, треск сучка настораживали, разведчики замирали, тая дыхание, прислушивались и только по отмашке лейтенанта устремлялись дальше.

Шли след в след, молча и зыряка по сторонам. Коля не спускал с Лупандина глаз, даже перестал поглядывать назад, как наставлял лейтенант. Всё своё внимание он сосредоточил на спине впереди идущего, на его согнутых в локте руках.

Лейтенант стал чаще брать в руки планшетку, поводить компасом да бросать взгляд на часы. Красный верх его кубанки обращался то кругом, то овалом, а то совсем исчезал из поля зрения при очередном повороте головы. Сам же командир, чернобровый и смуглявый, всё больше бледнел, словно малец перед дракой. По его сосредоточенному лицу становилось ясно, что цель близка.

Наконец, впереди забрезжило, сквозь ельник и сосняк появились просветы. До опушки, где находился разъезд, оставалось совсем немного. Вот тут-то всё и произошло.

Цепочка разведчиков внезапно разомкнулась. Случилось это для передних незаметно, увидел только Коля. А разрыв в цепи произошёл между Фомой и Лупандиным. Лупандин, завидев просветы, слегка замешкался и не просто остановился, а наклонился, как бы оправляя обмотки. За эти мгновения голова отряда заметно отдалилась. Алый верх лейтенантской кубанки превратился в лепесток мака. А Лупандин с Колей остались на месте.

Дальше было так. Не спеша выпрямляясь, Лупандин сорвал с ремня противотанковую гранату. Когда он распрямился во весь рост, рука с гранатой взметнулась в замахе. То и другое произошло одновременно. Взрыв был неминуем. Он разорвал бы впереди идущих в клочки. Но вместо взрыва раздался сдавленный вскрик.

Что такое? Что случилось? Лейтенант и ушедшие вперёд бойцы разом обернулись. А обернувшись, кинулись назад. У Колиных ног на коленях стоял, ломко свесив голову, дюжий Лупандин. В спине его под левой лопаткой торчала “финка”, добросовестно загнанная по самую рукоятку. Правая рука предателя была задрана вверх, а Коля, не давая разомкнуться его пальцам, уже разорвал зубами индивидуальный пакет и деловито перетягивал бинтом кулак и зажатую в нём рукоятку взведённой гранаты.

Из рейда отряд Шелеста вернулся всемером, как и уходил. Только вместо Лупандина в цепочке плёлся унтер-офицер, которого они выдернули из пылающей ремонтной базы. “Язык” от мазутной копоти был до того чёрен — черней своего танкистского комбинезона, — что ротные остряки тут же окрестили его “дядей Томом”.

“Задание командования выполнено на сто с хвостиком”, — так передавал оценку начальства лейтенант Шелест, благодаря бойцов за службу. А Коле, уже наедине, сказал, что будет добиваться снятия с него судимости. Основания для такого решения, по мнению взводного, были, и притом не маленькие. Именно Коля обеспечил удачу рейда, обезвредив предателя, а потом отлично проявил себя при уничтожении мехбазы. А тут ещё выяснилось — Шелесту о том по секрету сказал особист, — что Лупандин, судя по оперативке, был немецким шпионом, который возвращался за линию

фронта. Короче, взводный стал незамедлительно писать докладные и рапорты, дабы освободить своего подчинённого от позорной статьи... И своему начальству писал, и в штаб полка. Да только всё оказалось тщетно.

Крови нет — кровью позор обещал смыть! — а на нет и суда нет, то бишь пересуда. Только после кровянки. Ну и что, что кровянкой в штрафбате не обходится, чаще кранты бывают, зато после уже без всякого пересуда боец отправится прямо в рай пред светлые очи ключника Петра. Это так объяснял лейтенанту усталый и древний, как, кажется, сам Пётр, замполит. А объяснив, обещал, что специально ради него, взводного, впишет самолично имя Коли в представление на медаль.

Достучаться до совести отцов-командиров взводному не удалось. Тогда, чтобы уберечь Колю от их дуроломства, — ведь они, не моргнув глазом, когда надо и не надо бросают штрафников на пулемёты, — лейтенант сделал Колю своим ординарцем и ни на шаг не отпускал от себя. Мало того, Шелест делился с Колей своим офицерским допнайком, деля всё поровну. А чтобы повысить ценность Коли как бойца, стал самолично учить его минному делу.

— Вот это, — наставлял он, берясь за фанерный пенал. — Ящичная мина деревянная, ЯМД-5.

— Почему “пять”? — уточнял Коля.

— Пять кило...

— Ишь ты, гробик! — уважительно тянул Коля, но от усмешки — ведь малец! — удержаться не мог: — Гробик для Тобика.

Тарельчатую противотанковую, на которой стояло три взрывателя, Коля обозвал тришперкой. Помзы — немецкие противопехотные осколочные мины, которые выставлялись на колышках и походили на грибы, с лёгкой руки Коли разведчики стали звать поганками. Прыгающие шпренгельные все звали лягушками, а Коля только жабами.

По вечерам в землянке или сидя у лесного костерка в стороне от передовой лейтенант рассказывал о детдоме. Картины рисовались до того красивые, что Коля заслушивался. Побудка по горну, зарядка коллективная, потом учёба, работа в мастерских, а по вечерам — костры и задушевные песни.

“Взвейтесь кострами...” — дирижировал лейтенант сам себе и будто сам себе что-то доказывал. Глаза его лихорадочно блестели, словно в них металось не просто пламя тех далёких костров, а пожар мировой революции. Скоро, сулил лейтенант, наступит такая жизнь, когда во всём мире не будет ни бедных, ни богатых, а как у нас, будет справедливость. Все будут жить сытно, в достатке и радости, а ещё работать, учиться, летать по выходным на Луну и на Марс. Но пока надо добить фашистов, а для этого осваивать военное дело настоящим образом. Это взводный подводил к тому, чтобы ещё раз оценить, насколько Коля усвоил последний урок.

Коля отзывался охотно. Он подробно и точно рассказывал об устройстве минного поля “шнуром”, о настройке на боевой взвод фугасов, о том, как надо ставить тросы растяжки, которые уже машинально называл по-своему резинкой от трусов. Юное, не слишком ещё засорённое сознание Коли легко впитывало все военные премудрости. Но главная причина этой прилежности заключалась не в материале, который он усваивал, а в том, кто этот материал преподносил, — в лейтенанте Шелесте. Коля почувствовал к Шелесту доверие. Сиротское детство и лагерная юность настигли его сердце. Встретив лейтенанта, он будто обрёл родную кровь, долгожданного старшего брата, и сердце его, до конца не охладевшее, от этой сродной крови ожило и раскрылось. Коля без утайки рассказал о себе. Как в 37-м арестовали отца, как мать слегла и больше не встала, как его шпыняли и не пускали к себе родичи, остерегаясь, что и на них падёт несчастье. И о бродяжничестве своём, и о голодухе, и о кражах...

По-мальчишески гордый и независимый, Коля готов был принять от Шелеста и порицание, и осуждение, и, может, даже снисходительно-презрительную намешку, на которую, по его представлениям, старший брат имел право. Но лейтенант ни жестом, ни взглядом, ни словом не осудил его. Он только кивал да крутил в руках кубанку, поворачивал её то алым верхом, то чёрным исподом, словно ворошил уголья костра.

Как-то в ноябре, возвращаясь из ближних немецких тылов, группа разведчиков напоролась на моторизованный патруль. Двое бойцов были скошены наповал. Уцелели Шелест и Коля. “Туда!” — махнул лейтенант и нырнул в балку. Уцелела была узкая и длинная, она вела в сторону от передка, но зато позволила оторваться от погони. Вынырнув в тупике балки наверх, разведчики осмотрелись. Слева открылся перелесок, до него оставался один хороший бросок. Но как это сделать? Мотоциклисты с пулемётами остались позади, да от охоты явно не отказались, выжидаячи на кромке балки. Куда денется мышка, если кошка караулит возле норки? Так оно и вышло. Едва разведчики выбрались наверх, как снова попали под сокрушительный огонь. Хорошо ещё местность тут оказалась бугристая. Прячась в её складках, Шелест с Колей мало-помалу уходили от опасного места. До перелеска, до редких, но всё же спасительных ёлок и сосен было уже рукой подать, как лейтенант что-то крикнул и, пригибаясь, кинулся назад. “Куда?” — заорал Коля. Лейтенант, не оглядываясь, хлопнул по голове и только тут Коля заметил, что на нём нет кубанки. Ситуация обострилась. На беду, немцы решили продолжить погоню в пешем строю: экипаж одного из двух мотоциклов снял со станины тупорылый “МГ”, пересёк балку и кинулся наперерез. Что оставалось Коле? Весь огонь принять на себя — ничего другого. Меж тем патроны кончались, он стрелял короткими очередями. Зато немцы лупили из двух стволов — пулемёта и автомата, — не экономя, и всё ближе подбирались к Коле. Лейтенант появился внезапно, как и исчез. Причём там, где его не ожидали ни Коля, ни немцы, явно потерявшие бдительность. Вынырнув из балки в тылу у спешившихся охотников, лейтенант кинул гранату и тут же дал очередь из ППШ. Пулемётчика он расчётливо сразил пулями, дабы не попортить “МГ”, а автоматчика осколками. Экипаж оставшегося за балкой мотоцикла всё это время не стрелял, остерегаясь зацепить своих. Что произошло на острие погони, немцы сообразили не сразу. Этих мгновений лейтенанту хватило, чтобы кинуться к пулемёту и повернуть ствол в противоположную сторону. Дальний пулемётчик был сражён первой же очередью, водитель мотоцикла оказался проворнее, он успел давануть на газ и вырваться из-под огня. Лейтенант, не мешкая, бросился к Коле: “Цел?” Тот кивнул и зыркнул на кубанку. “Нашёл!” — оскалил лейтенант и, дабы больше не слетала, хлопнув по верху, нахлобучил по самую переносицу. Тут раздалась автоматная очередь — это, оцухавшись, затеял пальбу уцелевший немец. Что было делать? Ответили в два ствола, хлестанув огненными веерами из последних патронов, и что оставалось духу пустились к спасительному перелеску.

В пылу боя Коля ничего не почувствовал, но, когда они добрались до своих, обнаружилось, что его всё-таки зацепило. Одна пуля ободрала предплечье, другая царапнула по рёбрам. Это произошло, видимо, тогда, когда он отбивался в одиночку. От потери крови кружилась голова, ноги подгибались. Однако ни словом, ни жестом Коля не упрекнул взводного. Лейтенант сам повинился перед ним, перебинтовывая раны. А потом, уже ночью, когда не спалось, когда ворочались, всё ещё остывая от погони, он и поведал о кубанке.

Жил-был в селе под Армавиром лихой хлопец. Звали кубанца Фрол. В 16-м году, когда пришёл срок, забрали его на войну. Сначала служил в пластунской сотне, потом в кавалерии. Воевал знато, два Георгия заслужил. Потом революция, гражданская война. Очутился Фрол в Красной армии. Сначала у Думенко, потом у Будённого. В 19-м году командовал сотней. Раз проходил полк через одно тамбовское село. Видит Фрол — дивчина. Коса русая, глаза васильковые... И она засмотрелась на бравого командира: белозубый, из-под кубанки чуб вороной... “Сидай, красавица!” — манит он. Та, недолго мешкая, прыг в седло. Мать от хаты: “Куда? Опомнись, Любка!” А она махнула косыночкой — и поминай, мама, как звали... Всю войну Фрол и Любава были вместе. Когда казака ранило, она осталась с ним в госпитале и выхаживала, пока не встал. После излечения Фрола направили в армию Тухачевского. За ним, как дратва за шилом, — и Любава. Полтавщина, Витебщина, Львовщина — куда только их не бросало. А в 21-м кинули части

Тухачевского на подавление антоновского мятежа. Вот уж где наревелась Люба — ведь по родным местам шли, огнём выжигая. Чудом успела предупредить мать, та укрылась. А село спалили, перед тем пустив газы, у людей глаза вылезали из глазниц... В 22-м Фрол уже командовал полком, ему сулили блестящее будущее, собирались отправить на учёбу в военную академию. Но летом того же года его и Любаву зверски зарубили. Стряслось это в их собственном доме. Убийца оставил записку, написанную кровью: “За моих сродников. Тамбовский волк”. Но младенца тот “волк” не тронул, хотя зыбка висела на виду.

Эту историю младший лейтенант Шелест услышал перед отправкой на фронт. Успел на сутки заскочить к бабке, которая, как родственница красного командира, дождала свой век в интернате под Орехово-Зуевом. Она-то, чуя, что уже более не свидеться с внуком, и выложила всё начистоту. Прежде говорила, что родители погибли в Туркестане, гоняясь за басмачами. Даже намекала, что кино “Тринадцать” — это про них. Но теперь достала из сундучка кубанку да всё и выложила: “Душегуб тот не тронул тебя. Увидел шапку-то и не тронул. Она в твоей люльке лежала. Вот этот крест, — старуха огладила белое перекрестье на алом верхе, — чую, и остановил его”.

Шелест склонил, как велела старая, голову, и она собственноручно надела на него отцову кубанку. “Это твой оберег, — заключила бабка своё напутствие. — Носи и не сьмай. Христом Богом молю”. — И перекрестила внука.

История, рассказанная шёпотом в потёмках большой землянки, до того разволновала Колю, что он долго ещё вздыхал, ворочался, не в силах отрешиться от нахлынувших чувств, а ещё, конечно, боли. Усталость всё же смирила — Коля забылся. Однако, видимо, ненадолго. Очнулся он от непривычных звуков. Дальний артиллерийский гул, рокот мимоходных бомбовозов — это всё Колю не тревожило, он уже привык к таким помехам, и ежели спал, то не просыпался. А тут всхлипы и, тихий плач — эти звуки, точно вода, просочились в сознание, вот Коля и очнулся. Они спали с лейтенантом бок о бок, укрывшись шинелями. Понять, кого корёжит злая память, не составило труда — лейтенанта. Но что в таких случаях делать, Коля не представлял. Лейтенант не ребёнок, который ждёт утешения, не девчонка, которую пожалей — она и присмирее. Вздохнул Коля, поморщился, выдавив закипающие в глазах ответные слёзы, да только плотнее вжал свои лопатки в спину лейтенанта.

Вместе с Шелестом, ставшим уже старшим лейтенантом, Коля провоевал почти год. И медалей нахватал, и почётных грамот, и судимость под конец этого срока с него сняли, а главное — благодаря Богу и Шелесту Коля избежал серьёзных ранений и увечий. Так, вместе, сам-друг, где по-пластунски, где катом-бегом они и приближались к победе. Да на исходе лета 44-го стряслась беда.

Было это в Польше под Вильно. Совершая рейд по ближним немецким тылам, Шелест с Колей вышли на один хутор. Крестьянское семейство — хозяин и двое сыновей с жёнами — встретило их радушно. Доверившись этим приветливым людям, смертельно уставшие разведчики решили маленько передохнуть. И... просчитались. Семейка оказалась связниками “АК” — “Армии крайовой”. Хозяин тотчас же послал гонца — одну из своих снох. Подмога из аковского отряда долго не приходила. Остерегаясь, что добыча уйдёт, поляки сами решили скрутить русских...

Если бы старлей с Колей попали в руки аковцев, с них живём содрали бы кожу — до того люто те ненавидели москалей. Но тут неожиданно на хутор нагрянул разъезд фельджандармерии, который шёл по следам диверсантов, и полякам ничего не оставалось, как передать русских немцам.

Шелест к той поре уже истёк кровью — выхватив наган, он успел укокошить хозяина, но сам получил вилами в грудь. А Коля был только оглушён. Чумового, истерзанного, его потащили к грузовику. Фельдфебель заметил в руках хозяйского сына кубанку — она, видать, глянулась польскому куркулю, тот уже прибрал её к рукам.

— Kazaken? — пролаял немец. Вырвав добычу из рук поляка, он поспешил к Коле и, прежде чем того кинули в фургон, нахлобучил кубанку ему

на голову. Теперь пленный приобрёл товарный вид — за диверсанта, к тому же казака, могли дать железный крест, а то и недельный отпуск в фатерлянд.

Получил ли фельдфебель чаемую награду — история умалчивает. Но Колю, несмотря на безысходность его положения, судьба в дальнейшем всё же миловала. Началось с того, что эшелон с пленными неожиданно развернули. Вместо Люблина, близ которого находился “Майданек” — гигантский комбинат по утилизации человеческой массы, — его направили на балтийское побережье, в Данциг, где существовал обычный рабочий лагерь. Правда, Коля, как и его спутники, о том не ведал. Он только после, сопоставляя факты, стал догадываться, что ему и впрямь повезло.

В себя Коля пришёл нескоро. А когда всё же очухался, то был и не рад, что стал что-то соображать. Сокрушённо вспоминая, как глупо они со взводным влипли, он то и дело скрипел зубами, которых после побоев-допросов стало намного меньше. Ведь предупреждали же отцы-командиры, старшие начальники, что нельзя доверяться полякам. Гоголя устами Тараса Бульбы для убедительности цитировали. “Что, сынку, — мычал про себя Коля, мотая, как старый сечевик, головой, только что без оселедца, — помогли тебе твои ляхи?” А ещё кстати и нехстати вспоминал, что, кинувшись на сено в клуне “клятых ляхов”, Шелест обронил кубанку. “Забыл про наказ бабки — вот и попух”, — качал головой Коля. Сам же он с командирской кубанкой с тех пор не расставался. А чтобы она не бросалась в глаза, не соблазняла бы любителей дармовщинки, вывалил кубанку в грязь.

Узники рабочего лагеря занимались расчисткой портовых пирсов, которые постоянно подвергались бомбардировкам. Формы арестантской здесь не носили, военнопленные ходили в чём попало, точнее — кто в чём попал. А обновами разживались, снимая одежду с околевших или угодивших под пулю конвоира. И поскольку мёрло народу много, одежда, хоть драная и задрипанная, тут не переводилась.

Коло Богу миловал. В немецкой неволе он пробыл всего четыре месяца — лагерь геройским броском освободили советские танкисты. Правда, многих узников эсэсовцы успели пострелять, кося рванувшихся навстречу долгожданной свободе перекрёстным огнём. Но Коле и тут повезло. Вспомнив один из уроков друга старлея, что в любой самой безнадежной ситуации главное — это не метушиться, он прихлопнул кубаночку и от смертоносных жал укрылся за трупами. Что ещё его поразило, так это собственное злуднокровие. Он вдруг поймал себя на мысли, что прислушивается к звукам пуль. В живое они попадают беззвучно, а тут — с каким-то чвяканьем.

Уцелевших узников собрали в один барак, назвав его фильтрационным — так постановил капитан-особист, прибывший в Данциг следом за передовыми частями. Иных, кто был покрепче, через день-другой направляли в боевые подразделения, которые поредели в ходе прорыва, других — в ближайшие тылы на усиленное медсанбатовское питание, дабы привести их в телесную норму. Третью задерживали “до особого”, не поясняя, что за этим словом таится.

В ожидании участи Коля не смыкал ночами глаз. Он рвался в бой, даром что отощал и крепко ослаб. Ненависть, клокотовавшая в груди, была сильнее немощи. Он жаждал поквитаться, отомстить за павших товарищей, а главное — за Шелеста, своего командира и друга. Но скоро сказка сказывается, да не скоро “Дело” закрывается. Такая присказка была у капитана Лихих. Любым эмоциям особист предпочитал документы. Есть документ — шагай довоёвывай, а нет — сиди и не рывайся.

Долго ли коротко, ответ на запрос СМЕРШа пришёл. Однако ничего утешительного для Коли в нём не оказалось. Штаб полка в начале зимы накрыло авиабомбой, архив сгорел. Многих сослуживцев с той поры покосило, а кто уцелел — перебросили в другие части...

— Ну, — пробурчал особист, уставившись на Колю, — что прикажешь с тобой делать?

Левый глаз капитана был постоянно прищурен, даже когда он не курил, отчего казалось, что особист постоянно держит тебя на прицеле. Глядя в его

правый зрак, который был неестественно выпучен, Коля поёжился и обречённо пожал плечами.

Он ничего не утаивал, честно расписал всю свою невеликую биографию — и про отсидки, и про штрафбат, и про то, как служил под командой товарища старшего лейтенанта Шелеста, и какие заслужил награды, и про снятие судимости... Да что толку! Документов-то нет. А нет документов — нет и веры. Тем более бывшему военнопленному, бывшему сидельцу и штрафнику. В немецких лагерях не многие выживают, да и в штрафбате уцелевших не бывает, а тут всего-навсего какие-то царاپины.

Нельзя утверждать, что капитан Лихих относился к штрафникам как к человеческому отребью, нет. Иные из проштрафившихся — вести доходили — неплохо воюют и даже геройствуют. Но тут был тот случай, который называется “серединка на половинку”. Судьбу Коли могла решить какая-то мелочь. И она появилась. Это была характеристика из лагеря, где Коля мотал свой юношеский срок. В ней значилось всякое: и нарушения режима, и неповиновение, и карцеры... Вот это и решило Колину участь.

Из немецкого лагеря, точнее, уже фильтрационного блока, Коло прямою наводкой наладили в лагерь советский. Он находился под Тайшетом. И дали ему ни много ни мало аж 8 лет, по два года за каждый месяц плена. Такая вот арифметика сплюсовалась.

Поглядев после объявления приговора на свою кубаночку, Коля собрался её выбросить, тоска схватила за горло — страсть, да вдруг призадумался. А ведь что-то оберегало доселе его: и от “Майданека” — лагеря смерти — отвело, и от штыков конвоиров спасло, и от осколков бомб, что сыпались на причалы, и от пулемётов эсэсовцев... А ну как всё-таки кубаночка, этот крест на ней, что прикрыт земляной коростой! Восемь годиков, конечно, много — и так много, и этак, особенно когда тебе всего-то двадцать. А с другой стороны — терпимо, ведь тебе всего двадцать и житейский резерв у тебя есть. К тому же вспомнился Шелест. Стыдно стало Коле за свою слабину. Побратим погиб. Теперь надо жить за двоих. Так Коля заключил и, нахлобучив на стриженую голову кубаночку, отправился отбывать новый срок.

Время в неволе идёт медленно, как в детстве. Только в детстве, если оно нормальное, много радости и тепла, а солнечное лето кажется бесконечным праздником. В неволе же одни неповоротливо-медленные, как слоны, и такие же серые, как слоны, будни.

Выпавший срок Коля отмотал от звонка до звонка плюс полгода в общей сложности карцера — никак поначалу не мог примириться с приговором, то и дело залетая в кондей. Ежели бы Коля прислонился к уголке, положение его сидельское могло поправиться — блатата, как и до войны, жила в зоне хоть и не припеваючи, но у пня с лучком не горбатилась, от голода не пухла. Но Коля не перешёл на ту сторону. Для него это было равносильно предательству. Предать Шелеста, своего наречённого брата? Нет! Он остался среди фраеров или мужиков, как работающий лагерный люд называли урки. Так мужиком, корячась да горбясь, терпя унижения, зуботычины и голод, он и отмантулил неведомо за что назначенный срок.

## 2

Из лагеря Коля освободился через полгода после смерти Сталина, точнее, в день рождения вождя — 21 декабря. Вышел, потеряв остатки былого “рафинада”, а обрёл музыкальную кликуху, которую без конца цедил сквозь бреши во рту, а потом, уже на воле, — через железные фиксы.

Коле было без малого тридцать. Жизнь предстояло начинать с нуля. Встал вопрос, куда податься и что делать. Пораскинул Коля мозгами и решил далеко от “насиженных” мест не удаляться. Тут, под Тайшетом, затевалась большая стройка, требовались рабочие руки — вот он и остался, тем паче, что дело предлагалось знакомое: взрывные работы. “Аммонал — он и в Африке аммонал, — рассуждал Коля. — Что под немецкую задницу пристроить, что под гранитную скалу — одно и то же”. Единственная разница заключалась в том, что в тайге, в отличие от фронта, не надо дурить



врага, устраивая ему всевозможные ловушки наврode “шахматок”, чтобы поставить “мат”. Бей шурфы, — бурки по-лагерному, — закладывай заряд, оттягивай взрывную машинку и рви. Делов-то...

С первых сибирских зарплат Коля завёл себе овчинный полушубочек, меховые верхонки, белые бурки и белый шёлковый шарфик. Но до того, ещё прежде, отмыл-отчистил свою фартовую кубаночку: верх её вновь закраснел, как индевелое зимнее солнышко, а шёлком шитый крест, обращённый в зенит, забелел.

Красавцем, понятно дело, Коля не был — война да лагеря потрепали мужика, но женихом в округе слыл не из последних. Сбитая набекрень кубаночка, из-под которой, что гроздь, свисает русский зуб, лёгкая, упругая походка жигана и разведчика, посвист “Бесамемучо”, словно невидимая спица, на которую нанизываются колечки папиросного дыма, — Коля вскружил голову не одной девке, причём не только на трассе, на которой трудился, но и в лесопункте, и в ближних сёлах-деревнях. Полгода он провёл в интенсивном поиске, перебирая девиц, как баянные кнопочки. А выбор сделал для всех неожиданный, остановившись не на самой яркой да видной. “С лица воду не пить”, — заключил Коля. Глафира была сиротой, дивчина сибирская, широкая в кости, крепкая, работала на трассе учётчицей. А лицом была добрая. Вот этим и глянулась Коле.

Минул год. В молодом семействе наметилось потомство. Незадолго до родов Коля пристроил Глашу к одной одинокой женщине, что жила в просторном пятистенке на лесном кордоне. Не в балке же младеню на свет выводить! А та женщина, Евстолия Ниловна, и рада была. В войну потеряла всех родных — и мужа, и троих сыновей — и вековала в одиночку. А тут — живая душа, да к тому же не одна.

Родила Глаша на излёте лета. Девочку назвали Степанидой — так, поминая мать, пожелала Глаша. А Коля и не возражал. Стёша — так Стёша, хотя лучше бы парень...

На ту пору у Коли выпал отпуск. Мелькала мыслишка съездить куда-нибудь на юга, погреться на солнышке — он ведь никогда не бывал на море, да и Глаше с дочуркой было бы на пользу. Но подумали-подумали, пригласив на совет Евстолию Ниловну, и решили воздержаться. Ехать долго, с пересадками — неделю, в дорогах маета, ребёнок маленький, мало ли что. А недостаток витаминов решили восполнить козьим молоком, благо у Евстолии Ниловны и коза удоистая имелась на примете.

С отпускных Коля закупил женщинам гостинцев: Глаше — платье крепдешиновое в меленький горошек, дочурке — ленточек да пупсиков, а Евстолии Ниловне — шаль оренбургскую. Была у Коли одна мечта: хотел он справить охотничье ружьё — одноствольную “тозовку”. Худо ли попотчевать свежатиной кормящую мать, особенно белым мяском ряба! С этой целью Коля специально ездил в ближний райцентр. Но в милиции, куда он обратился за разрешением, заявили, что, как недавнему сидельцу, оружие, даже гладкоствольное, ему не положено.

“Во суки! — горячился Коля, вернувшись на кордон. — Аммонал — дак ничего, доверять можно, а пукалку дробовую — дак опасно!” — И так скрипел зубами, словно опять встретился с особистом. Тут из запечья вышла Евстолия Ниловна. В руках она держала двустволку. Три сыновние ружья она, по требованию властей, сдала ещё в войну, а это, мужнино, с царскими орёлками на цевье, и запасы к нему пороховые всё же припрятала.

На охоту Коля наладился в сторону от трассы, чтобы не попасть кому на глаза: увидят ружьё — не ровен час, дойдёт, куда не надо, могут и Ниловну затаскать.

Убрёл Коля далеко. Из-за очереди лесистых урманов не доносилось ни звука, хотя на трёхкилометровом участке трассы в эту пору вовсю шли взрывные работы, и взрывы ухали день и ночь, точно на фронте в канун наступления.

Зверинный дух охотник почувствовал верхним чутьём. Скинув с плеча двустволку, заменил патроны с “бекасинником” на пару с “жаканами” и, взведя курки, двинулся дальше. Стелился тенью, как, бывало, в рейде

за “языком”, стопами едва касаясь земли. Передвигался с подветра, стараясь не сбиваться с взятого направления. Однако мало-помалу запах ослаб — то ли нос притерпелся, то ли зверь ушёл. Коля уже собрался повернуть назад, тем более что лес тут пошёл густой, посвистов да ворошений и не слышать стало. Но внезапно донёлся писк, короткий и какой-то странный для леса. Коля замер, затаив дыханье. Нет, решил, послышалось: может, ветер в стволах или гнидушка какая под стопой... Но только собрался поворачивать, как вновь услышал писк. Был он короткий и не по-лесовому отчаянный. Неужели так, по-человечески, звучит голос неведомой птицы или зверя? Живо, но по-прежнему сторожко Коля устремился на звук. Впереди показался выворотень — поваленная матерая ель. Держа на изготовку ружьё, охотник обошёл распластанную лесину и заглянул за вздыбленное корневище. Картина, которая открылась его глазам, привела Колю в трепет. На чёрной земле в переплётё корней-шупалец лежала распластанная навзничь женщина. Она была истерзана каким-то зверем. Когти, тонкими лезвиями распоровшие её живот, видимо, принадлежали рыси или росомaxe. Но то было и странно. Ведь стояла осень, в лесу полно всякой добычи, до бескормицы далеко. Отчего же зверь кинулся на человека? Или он был чем-то напуган, разъярён, потому и обезумел? Или наоборот — почуял слабость, беззащитность, которые исключали отпор?..

Кровь из ран уже ушла в землю, а остатки её запекались на рваном теле. Но самое жуткое Коля разглядел потом. И хоть насмотрелся за свою лагерную да фронтную жизнь всякого, такое наблюдать не доводилось: в ногах женщины шевелилось чёрное от земли и крови существо. Коля остолбенел. И только когда раздался слабеющий писк, он очнулся. Пуговина оказалась ещё влажная. Коля пересёк её “финкой”. И тут, не иначе, фронтные навыки аукнулись, потому что, как Коля ни был ошарашен, у него достало ума сотворить, точно в рейде по тылам, доступную маскировку. Что он сделал? Да ничего особенного. Взял материнский конец пуговины и дернул по охвостовью стальными зубами, как обычно зачищал концы проводов взрывной машинки, только после этого не просто сплонул, а едва не выблевал.

Дальше мешкать было нельзя. Коля скинул с себя фуфайку и закутал ещё не угасшую жизнь в своё тепло. Ребёнок слабо ворохнулся. Не выпуская его из рук, Коля повернулся к матери. Женщина не дышала — ясно было, что она мертва. Но чтобы удостовериться, Коля всё-таки наклонился. Она была совсем юная и, несмотря на обескровленное, измученное ужасом и отчаянием лицо, красивая. Такой Коля и запомнил её, запечатлев в памяти.

Глаша приняла младенцу без разговоров, приткнув полумёртвого и зачуханного бедолагу к своей груди. Стеша сосала мать слева, а найдёныш — справа. И только когда дитя немного отошло, зауркало и запосапывало, она и спросила про находку. Коля шёпотом рассказал, как было дело, а потом поделился своими соображениями: судя по бушлату и номеру на нём, мать спасёныша — беглянка. Да что бушлат — он и по запаху, затхлому и казённому, чует, что она из-за колючки. Глаша, заметив в словах мужа какую-то недосказанность, какую-то угрозу, только ближе приткнула к себе найдёныша и даже выставила охранительно локоть.

Первые дни Коля всё прислушивался: не идут ли лагерные “архангелы”, так бывало в зоне в ожидании карцера. Но шли дни, никто не объявлялся, и Коля успокоился. А Глаша, казалось, и думать ни о чём худом не думала. У неё даже молока прибавилось, словно природа поощрила за милосердие. “Ты прямо, как рекордистка, — грубовато шутил Коля. — Удои растут на глазах... Хоть на ВДНХ посылай...” Но втайне-то, конечно, был рад такому житейскому обороту.

Записали младенцев как законнорожденных брата и сестру на Колину фамилию — Алтухин. С именем мальчика вышла небольшая заминка. Коля сначала про себя, а потом и вслух стал звать его Медвежонком, держа в памяти место рождения. Однако в свидетельстве записал под именем Артура. Так в честь Овода, борца за справедливость и счастье угнетённого народа, назвали своего сына родители Шелеста. Так в память о своём побратиме назвал сынка-найдёныша Коля. Однако в обиходе он и про себя, и вслух нередко звал его Мишей.

Минул ещё год. Трасса ушла далеко на восток. Лесной кордон с приветливым домом Евстолия Ниловны семейству Алтухиных пришлось покинуть и переселиться в балок. Однако расстаться совсем они обоюдно не пожела-ли. То Евстолия Ниловна, которую Глаша стала называть мамой, навестит их, привезя житников да козьего творожка. То они всем гамузом на Май-ские или Октябрьские прикатят на кордон. А уж летом детишки месяцами гостили у бабушки, обласканные её добротой да заботой.

Тайна, которой, наряду с Колей да Глашей, владела Евстолия Ниловна, так и осталась тайной — не давая громких зарок, она не поминала об исто-рии Артура-Миши даже в разговорах с ними, а не то что где-то на сторо-не. Но тут случилось непредвиденное.

Однажды в передвижном посёлочке появилась новая бабёшка. Её офор-мили истопником в кочегарку. Понять, откуда залётная выпорхнула, было нетрудно. Многие из работяг мехколонны прошли лагеря и чуяли сидельцев за версту. Коле тоже не надо было объяснять, кто она и откуда — по повад-кам ведь всё видно.

Звали новенькую Руфиной. Вертлявая да егозливая, Руфа сразу запоха-живала по гостям. Наведалась она и в балок, половину которого занимал Ко-ля с семейством. Родители как раз собрались купить детишек. Руфа сходу — этакая родственница выискалась — принялась помогать да всё сосюкала и те-тёшкала, что в семье было не принято. А когда стали ребятишек вытирать, то неожиданно брякнула, что Стёша и Артур совершенно не похожи. Глаша от этих слов на миг растерялась, но тут же взяла себя в руки и кивнула в угол, где стояла корзина: дескать, чего тут особенного, вон и у кошки раз-ные котята, посмотри. Коля же промолчал, но когда Руфа ещё раз подиви-лась несхожести двойняшек, да ещё добавила, что Артурчик и на родителей не похож, то скрипанул втихаря железными зубами и процедил неизменное “Бесаме...”, вложив в соло свою новую озабоченность.

Праздников в ближайшее время не предвиделось, однако Коля не стал дожидаться случая, а велел Глаше пригласить Руфу на ближайшее воскресен-ье. Та хвасталась, что в зоне наводила девкам марафет, завивала шестиме-сячную, стригла. Вот и пусть подровняет детишкам волосишки. Работёнка Руфе выпала небольшая — постригла ребятишек живо, ножницы да гребень в её руках и впрямь, как пташки, порхали. Зато возник повод для угоще-ния — хорошую, умелую работу грех ведь не отблагодарить.

Коля подливал всем поровну — и гостье, и себе, и жене, — но с таким расчётом, чтобы больше всех захмелела Руфа. Захмелев, гостья расслаби-лась, язык развязался и ну то слёзы ронять, то всохотывать, то заводить ис-торию своей гулеванистой жизни, а то про зону вспоминать... Вот тут-то и всплыла та история, которую Коля втайне ожидал услышать.

Лагерь состоял из двух зон — мужской и женской. Их разделяла запрет-ка, делившая овал лагерного острова примерно пополам, отчего в целом его звали “фэшкой” или “фишкой”. В женской зоне, как и в мужской, народ об-ретался разный — и воровайки, и бытовички, и по 58-й статье... И по возра-сту они, само собой, отличались: тут бедовали старухи, жёнки средних лет и совсем ещё юные девчонки. А уж по складу да по характеру и подавно — да и есть ли на свете две одинаковые женщины, даже если они родные сёстры!

Среди “фишкинских” сиделиц выделялась одна. Это была молодая осо-ба, с тонкой кожей и чертами лица, которую звали Ариадной. Поговарива-ли, что она — младшая дочь одного казачьего генерала, который попал в силки особистов после войны, и что, мол, сначала гэпэушники заманили в ловушку дочь, а потом на “приманку” поймали и отца. Так ли это было на самом деле, у Ады выведать не удавалось. Даже Доре, соседке по нарам, она не открывалась, хотя однажды и проговорила, что та напоминает ей кормилицу. Малоразговорчивая, замкнутая, на расспросы о прошлом Ада упорно отмалчивалась. Однако, судя по отношению к ней лагерного началь-ства, положение у Ады было и впрямь особое, не иначе на неё распространя-лась какая-то специальная инструкция. Её оберегали от насков задиристых блатных марух, её освободили от всех работ, но что самое удивительное — ей выдавали бумагу, и она без конца писала какие-то заявления и обращения.

Дора Дорман сочувствовала Аде и поддерживала в ней надежду на перемену участи, однако одновременно постоянно напоминала, что есть ещё один способ добиться свободы — амнистия. Вон сколько после смерти Сталина освободили жёнок — пачками из лагеря вылетали. Выпустили всех девчурок-малолеток, всех старух, всех матерей, у кого были малые дети, а главное — всех беременных. Последнее из этой череды и предлагала Дора своей юной соседке, не вдаваясь, правда, в подробности. Баба опытная, она щадила Аду. Ей ли, прошедшей не одну тюрягу, пересылку и зону, было не догадаться, что довелось испытать этой бедной девочке, когда она оказалась в неволе: кто только не лапал её пакостными руками, кто только юбочку не задирал. То-то от одного лишь намёка, от одного лишь подступа к этой теме у Ады расширялись от ужаса глаза, она бледнела и закрывала уши. Дора понимала её состояние, однако снова и снова возвращалась к своему предложению, полагая, что в положении Ады это единственно реальный шанс. “В пиисят третьем была амнистия, — нашёптывала Дора в ухо соседке, — к лету отпустили. Помнишь? В этом, пиисят четвёртом, в июле, хотя ждали зимой, к тридцатке, как гикнулся Володя Лысый... Будет и в следующем... Верные люди сказывают...” Это говорилось уже осенью, когда по июльской амнистии вышли на волю многие сидельцы “фэшки”. Вот тогда-то Дора и обмолвилась, как она может всё устроить.

Слышал бы откровения Доры опер по режиму — многое бы он, верно, дал за такую информацию. Но Дора не дура: кум знал многое, — в том числе и от неё, Доры, ведь в сексотах у него ползоны ходило, — многое, да не всё.

Запретка, 10-метровая полоса, которую с двух сторон окаймляла частая колючая проволока, преградой, разумеется, была. Однако нет таких преград, которые бы не одолел целеустремлённый человек. А уж у охочих мужиков целеустремлённости было выше крыши барака. Они и раньше находили способы, как проникнуть в женскую зону, а после той громадной — 53-го года — амнистии, как взбесились, потому что из женской зоны постоянно шёл манок.

Лагерное начальство хваталось за голову: что ни месяц — в “фэшке” объявляются беременные. По инструкции такую заключённую надо с определённого срока освобождать от работ, а когда родит — создавать условия и для матери, и для дитяти. И это бы ничего, бюджет зоны не похудел бы, если бы были единичные случаи. Но когда из строя выходят целые бригады...

Хозяин и кум рвали и металы. Если так будет продолжаться, не носить им головы. Кто будет ишачить? Кому выполнять народно-хозяйственные планы? Им, что ли, сам-друг вместе с ВОХРой?

По приказу кума запретку стали патрулировать наряды, вертухаи тыкали землю щупами. Один “кротовый ход” вскоре обнаружили. Думали, всё — теперь слётки закончатся. Но не тут-то было. Незаконные рейды в женскую зону не прекратились — о том свидетельствовали сводки лагерной больницы. Тогда кум пустил по запретке тяжёлые тракторы. ДТ-54 с санями, груженными бочками с соляркой, пробороzдили всю полосу. На утренней поверке не досчитали трёх эков — трупы их обнаружили в провалах кобуров. После этого наступило затишье. Месяца полтора лагерные лепилы не зафиксировали ни одного случая новой беременности. Хозяин с кумом ободрились. Однако вскоре всё началось опять. Запретку ширяли щупами, словно подмётку сапога шилом. Не по разу пускали бульдозеры и тракторы. Всё было тщетно. Кривая освобождений по беременности достигла какого-то уровня и больше уже не опускалась.

Кум запил, не в силах разгадать тайны чудесных зачатий. А потом и вовсе махнул на происходящее рукой, решив, что продвижения по службе ему теперь не видать, как собственной задницы. Меж тем, сам того не подозревая, он и создал обстановку для увеличения лагерной рождаемости. Дело в том, что уборку в кабинетах хозяина и кума проводила Дора Дорман. В молодости это была патентованная давалка, а потом — хозяйка тайного московского притона, за содержание которого она и попухла, получив в 50-м году полную десятку. От бывлой привлекательности Доры мало чего осталось, но у молодых вертухаев выбора не было, и она не отказывала, если выпадала оказия. Больше того, бывшая бандерша не забывала и о товарах. Сама

давно утратившая детородные функции, она, добрая душа, страстно стремилась осчастливить других. Приткнув где-нибудь в укромном углу молодого краснопогонника, Дора, как пчёлка, собирала с его цветка обильный взяток и умудрялась живо доставить добычу в женскую зону. Недаром её инициалы расшифровывали ещё как Дора-двести, имея в виду стахановский процент выработки. При этом не страдало и качество — ведь выбирала Дора ребят румяных, кровь с молоком, чтобы и потомство было соответствующее, а не абы какое.

В декабре Аду снова постигло разочарование: на очередной её запрос пришла очередная казённая отписка. Утирая ей слёзы, Дора снова принялась за уговоры. “Соглашайся, — настаивала она. — В мае — десять лет Победы. Амнистия железная. От верных людей знаю... Понесёшь — тебя и отпустят. А там видно будет. Может, и родных сыщешь”. Последний довод окончательно сломил Аду — она согласилась. И чудо не чудо — вскоре понесла, занялась в ней, как огонёк, новая жизнь. В больничке лагерной её поставили на учёт, даром что начальство кривило губы. Потекли дни ожидания, дни новых тревог и надежд. Но вот же судьба какая! Наступил май — об амнистии ни слуху ни духу, прошли июнь, июль — молчок. А в конце августа прошёл слухок, что в этом году амнистия не намечена, что беременных женщин вообще больше освобождать по амнистии не будут. При этом упоминалось какое-то закрытое постановление Верховного Совета, и по этому постановлению выходило, что дети Стране Советов, конечно, нужны (“И в караульщики, и в эка”, — язвили лагерные остряки), и оно неплохо бы увеличить народонаселение, побитое войной... Но когда они ещё вырастут!.. А тут — государственные планы... Народное хозяйство постоянно лишается дармовой рабочей силы... Непорядок!

Бедная генеральская дочка, в нетерпении считавшая дни до свободы, от такого известия стала сама не своя. Ей, переведённой в лагерную больничку, предстояло рожать тут же, в зоне, и потом продолжать отбывать свой неведомо какой и непонятно за что полученный срок. Рассудок у бедолаги не выдержал и настолько помрачился, что однажды она бежала — забралась в больничную фуру, спряталась за тюками белья и в нескольких километрах от лагеря, когда машина пошла на подъём, из кузова вывалилась.

Амнистию объявили в октябре...

Вот так рассказанное гостьей Коля-Беса себе представил. А на концовке истории, не беря в память сопли и слёзы, которые сопровождали рассказ, облегчённо вздохнул. Труп беглянки нашли. Её задрал медведь, а народившегося младенца утащил и сожрал. Так объявили в зоне, так это Руфа и передала. Но вот же зараза какая! Как ни пьяна была, а глянув в угол, где спали-посапывали детишки, умилительно просюсюкала и опять хмыкнула, что мальчонка ну, ни капельки не похож ни на сестрицу, ни на них, родителей.

Какой вывод сделал Коля? Он понял, что эта стерва от своего не отступит, она станет раз за разом талдычить эту засевшую в её башку мыслишку — не улестить её ни магарычом, ни охотничьей добычей, — а потом, как сорока на хвосте, понесёт свой треск дальше. И тогда Коля решил принять упреждающие меры. Опытный разведчик, он не забыл в день той памятной охоты пробежать пару километров по ручью, предвидя, что на поиски беглянки сыскари пустят овчарок. А тут сделал так.

Зайдя на другой день в кочегарку, Коля закрыл на задвижку дверь и оклабавшуюся было бабёшку огорошил приказом:

— Ну, вот что, маруха, пиши объяснительную.

— Про что? — растерялась маявшаяся с похмелья Руфа.

— Про то, — процедил Коля. — Базлаешь много, языком метёшь...

Руфа видела Колю в домашнем да в рабочем, а тут полушубок, синие диагональные галифе, офицерские прохаря, а главное — кубанка с красным верхом, как у кума. Вот она-то, кубанка, и напугала бабёшку. Да и как тут было не струхнуть, коли он ногу на чурбан поставил, грозно блеснув офицерским сапогом, глаза пронзительные, стальные зубы во рту, и листок бумаги на фанере протягивает.

Под диктовку Коли Руфа написала про то, что наболтала: и про лагерные порядки, и про кобуры подземные, и про побеги... И выходило из

написанного, что она опорочила советскую пенитенциарную систему и всё её высшее руководство. Это такой вывод сделал Коля. Однако, учитывая её чистосердечное признание, он обещал ходу этому документу — именно так: документу! — не давать, ежели, разумеется, болтушка прикусит свой длинный язык. Напуганная Руфа, само собой, обещала, полупьяной слезой подтверждая раскаяние.

Однако Коле этого показалось мало. Сорока — она и есть сорока: будет трещать, чего бы ей это ни стоило, такова уж природа. И он задумал принять более радикальные меры. Нет, гробить балаболку он не собирался, такого у него и в мыслях не было. Решил послать её в буквальном смысле куда подальше. Для этой цели Коле понадобилось простейшее пиротехническое устройство, в котором использовались глицерин да кристаллики марганца. В результате кочегарка среди ночи однажды занялась. Руфы на ту пору там не было — она гужевалась в балке холостёжи. За халатность и разгильдяйство бабёшку хотели привлечь. Однако потом учли, что кочегарку удалось всё же отстоять, — тут мужество и находчивость проявил взрывник мехколонны Николай Алтухин, о чём сообщалось в приказе. Ограничились тем, что виновницу пожара наказали рублём, вычтя убытки. Ну, а чтобы более не рисковать, — кочегарка ведь сердце передвижного посёлочка — бабёшку уволили и спровадили на все четыре стороны.

### 3

Дальнейшая жизнь Коли и его семейства протекала уже спокойно, без особых осложнений, словно река, одолевшая крутые перекаты и, наконец, устоявшаяся в своих берегах. Семейство крепилось любовью да трудолюбием. Коля с Глашей по-прежнему работали в мехколонне и были там на хорошем счету: их портреты, висящие рядышком, с Доски почёта не снимались. Детишки росли-подрастали. От игрушек они перешли к книжкам, от учебников и тетрадей потянулись к магнитофонным записям да танцулькам, как и водится у сверстников. Однако не забывали и о своих нехитрых домашних обязанностях: наносить воды, наколоть дров, истопить печь, а то и обед состряпать. Стёша выдалась лицом в мать, а характером — в отца: горячая да непоседливая. А Миша-Артур ни в Колю, ни в Глашу, а, понятно, в свою несчастную мамашу да в неведомого отца-молодца, уроженца то ли Вятки, то ли Вологды, а может, и богатырской вотчины — Карачарова. Простодушный и покладистый, словно телок-сеголеток, которого поят обротом, он к пятнадцати годам перерос все зарубки в доме Евстолии Ниловны и стал уже на голову выше бати.

То были самые счастливые годы. Особенно летом, когда в каникулы-отпуска они собирались под кровом Евстолии Ниловны. Рыбалка, купания, грибы-ягоды — все те дивные радости, которыми оделяет мать-природа своих чад. А вечерами, сидя на крыльце или у костерка возле дома, пели песни. “Взвейтесь кострами...” — заводил отец, а дети подхватывали и пели серьёзно и проникновенно. А ещё “Шёл отряд по берегу...”, а ещё “Там, вдали, за рекой...”, “Гренаду”. С каким умилением поглядывала на них из окна Евстолия Ниловна, иной раз утирая невольную слезу, когда взгляд её касался фотографий своих сыновей да мужа!

Потом Евстолии Ниловны не стало, схоронили её тут же на кордоне, а дом заколотили. Потом из-под родительской руки выпорхнула Стёша: выскочила замуж за лейтенанта-железнодорожника. Вскоре призвали в армию Артура. Остались Коля с Глашей в своём передвижном балке одни. А тут и пенсия подоспела досрочно-сибирская. Что делать? Перебрались они в дом, который отписала им покойная Евстолия Ниловна. Прожили полгода. И лес, и река, и тепло, и сыто, а что-то не зажилось тут. Дочка — на Дальнем Востоке, сын — на западной границе, а они посреди Сибири одни-одинёшеньки. Ни света тут нет, ни людей, словечком не с кем перемолвиться. Только ветер в трубе каторжанскую песню выстывает. И задумал Коля податься в родные места. А чего? Квартиры они за таёжные годы так и не заимели, меняя балки на щитовые домики и снова на балки. Обзаведения особенного

не обрели. Так что собраться в путь-дорогу для двух уже не молодых, но не обременённых хозяйством людей было делом недолгим.

Областной центр, где Коля родился и где жил до былой семейной беды, заметно изменился: улицы спрямились, дома устремились ввысь. Однако окраина как была “шанхаем”, так и осталась “шанхаем”. На Руси ведь так всегда: что временно — стоит века, а что на века — до первой встряски, тем более что поводов для лозунга “Мир — хижинам, война — дворцам!” власти всегда дают предостаточно.

Барак, где в тридцатые годы обреталась его семья, Коля разыскал. В нём по-прежнему ютился народ, зимой конопатя щели, а по осени подставляя тапы. Однако ни родни, ни знакомых там уже не было.

В барак Коле не хотелось — помыкался, будя. Он облюбовал небольшой дом, на который вышел по объявлению, на левом, малозаселённом берегу реки. Дом был ветхий, зато отсюда открывался живописный вид на речной простор и городскую набережную. И Коля его купил.

Год ушёл на приведение дома в порядок. Работал Коля больше один. У Глаши стало пошаливать сердце. “Сердце? — искренне недоумевал Коля. — А я дак и не знаю, где оно”. Однако Глашу берёг, к тяжёлым работам не подпускал. На самую трудоёмкую операцию — замену сгнивших свай и нижних венцов — Коля поджидал сына. Артур, отслужив срочную, приехал в конце весны. В две пары крепких мужицких рук отец с сыном за лето и завершили обустройство жилья.

Венцом в переустройстве стала новая русская печь. Глаша не могла нарадоваться на красавицу, хотя подступила к ней с заметной робостью: а ну как зауросит, запыхает, сажей обдаст. Но опаска оказалась напрасной. Печь задалась, отозвавшись ровным отрадным жаром. К “дымовому” застолю хозяйка выкатила с противней пирогов, шанег, кулебяк. Под это дело — вышло как-то само собой — справили, наконец, новоселье. Ну, а заодно отметили и рождение нового чада. Стёша отписала, что родила дочку, уже третью, и теперь, чтобы муж быстрее получил звание капитана, четвёртую звёздочку, товарки — офицерские жёны — подбивают её на четвёртого ребёнка.

К концу застолья родители заговорили с Артуром о дальнейшем житье-бытье. Мать с отцом, дождавшись сына, хотели видеть его подле себя: место есть, женись-плодись, вон, как сестра. Но Артур, покивав да поулыбавшись, заговорил про трассу, про тайгу, где прошло детство, где завязалась юность, и заключил, что махнёт туда. Мать от этих слов — в слёзы, принялась корить, уговаривать. А отец, завлажнев глазами, только крикал. Коля-Беса хорошо понимал настроение сына: человек тянется туда, где был счастлив, его зовёт молодость — пора гулевая, а ещё, видать, манит парня неведомый, но настойчивый зов крови.

Артур-Миша улетел с первыми журавлями. Только журавли на юг потянулись, а он к востоку да на север. И опять родители остались одни. Пока боркались по дому, доводя до ума хозяйственные мелочи, да убирали огород, вроде бы некогда было кручиниться. Но вот ударили первые утренники, река присмирела в ожидании ледостава, городской силуэт подёрнулся туманной дымкой, и на душу пала хмарь. Глаша от окна переместилась к телевизору, где было больше красок. А Коле этого мало. Побродит по дому, пошебаршит рубанком, помастерит чего-нито. Да всё как-то мелко. Подумал он, покумекал, посоветовался с Глашей и пошёл искать работу. Что ни говори, а работа от душевной хмари — самое верное снадобье.

К той поре Коля уже знал, что жив тот, кто в 37-м посадил его отца, свёл в могилу мать, а его, мальчика, наладил в колонию, чтобы, значит, “свести вредительскую поросль под самый корень” — чумовой партиец Цыпляев. Был он давно на “заслуженном отдыхе”, получал пенсию областного значения, однако же угомону не знал — писал в партийную газету, подписываясь то раборком, то членом комитета городского народного контроля, и по-прежнему выводил всех и вся “на чистую воду”. Сын его Владилен, ровесник Коли, был секретарём горкома партии и курировал транспорт и коммунальное хозяйство. А отпрыск Владилена Кирилл, внук старпёра Цыпляева, рулил в городском комсомоле.

Избегая ненужных встреч, Коля-Беса устроился в организацию, которая к городским властям не имела никакого касательства. Это был спецстройтрест, возводивший военные объекты и проходивший по ведомству Министерства обороны. Работа в тресте у Коли задалась: навыков-то за свою жизнь он набрался того боле: и крушить, и строить, и бетон заливать, и опалубку ладить, и с топором, и с механизмом всяким — всё умел делать. Оценив Колину сноровку, рабочую основательность да рачительность, начальство вскоре назначило его бригадиром. А за один важный оборонный объект Колю даже отметили медалью “За трудовую доблесть”, и о нём написали в закрытой ведомственной газете, поместив на первой странице портрет, где он был снят в кубаночке.

\* \* \*

Жизнь устоялась, шла ладно и правильно. Артур женился, прислал свадебные фото. Мать запричитала, заплакала. Отец оглядел невестку придирчивым взглядом, но по всему остался доволен: Маша фигурой оказалась крепенькая, а лицом добрая. А особенно она глянулась Коле и Глаше на том снимке, где, стоя на коленях, прибирала могилку Евстолии Ниловны.

Время от времени дети навещались в гости. То Стёша зайвится со своим выводком — тремя дочками и сынком, — то Артур с сибирской женой, которая принесла двойню — мальчика да девочку. А иногда нагрянут все скопом, полным составом, и тогда дом гудит, ровно пчелиный улей: двенадцать душ под одной крышей — шутка ли!

Летели годы. Стёша с семьёй оказалась в Москве — вот куда занесла военная судьба её мужа. Артур же решил вить гнездо близ родителей. Всякий свой приезд он завершал тем, что брал у бати свою сберкнижку, откладывал на неё оставшиеся отпускные и возвращал книжку обратно — так создавалась основа будущего дома.

Меж тем в державе начались непонятные перемены. Всё почему-то вспучилось, забурило, словно брюхо, в которое попал гнилой продукт. Брожение и несварение затянулись. Магазины опустели, увеличились очереди, опять, точно в войну, ввели продовольственные карточки.

Артур, который уже забил сваи, обустроил подвал будущего дома, чтобы к сорокалетию перейти на оседлый образ жизни, неожиданно остался у разбитого корыта: деньги, заработанные тяжёлым таёжным трудом, в одночасье сгорели, обратившись по воле новоявленных правителей в нули. Пришлось снова ехать на заработки. Однако к той поре и на трассе всё переменялось. Прекратилось снабжение, началось присваивание техники, которое называли приватизацией, месяцами не выплачивали зарплату. Что было делать? К середине 90-х Артур, уже сорокалетний мужик, вернулся с семейством обратно. Родители, само собой, потеснились. Батяка сам предложил срубить капитальную перегородку, чтобы обособить молодое семейство. А ещё вместе с сыном они соорудили флигелёк — это было место для Дашутки и Тёмы, внучат Колиных. На большее обустройство у семейства просто не осталось денег.

\* \* \*

Перемены в стране потрясли всех. Цыпляев-старший, прозванный за глаза Кошеем Бесмертным, не вынеся капитуляции партии, незаметно свихнулся. Выломает, бывало, штaketник, заберётся по нему, как по лестнице, на пьедестал памятника Ленину и оттуда, стоя в одних подштаниках, примется клеймить позором всяких новоявленных ревизионистов и троцкистов. Дабы придать своей особе более воинственный вид и тем напугать врагов трудового народа, он поверх исподников нацеплял саблю, которую сохранил со времён чоновской юности. А иногда по ночам Кошей расклеивал рукописные листовки, писанные на каком-то понятном только ему языке.

Сын Кошей, названный в честь вождя пролетарской революции, незаметно ушёл в тень — то ли заболел, то ли запил. Зато младший, Кирька,



расцвёл буйным цветом, как чертополох возле заброшенного памятника борцам революции. Магазины, ломбарды, игорные дома под маркой ЦК, то есть Цыпляев Кирилл, заполонили в считанные годы весь город. Набережную облепили уродливые дебаркадеры, в которых новый Паратов разместил явные казино и тайные притоны. Но Колю-Бесу особенно возмутило то, что в собственности новоявленного магната оказалось здание армейского командного пункта. Ведь возводил этот КП не кто-нибудь, а именно он, Николай Павлович Алтухин, его доблестная бригада, за что и были отмечены государственными наградами. Режимный прежде объект находился на территории ликвидированной на скорую руку воинской части, а представлял он собой цепь подземных бункеров. Вот его-то и заняла, захватила, если не сказать оккупировала Кирыкина зондеркоманда. Вверху разместился банк, который назывался ни много ни мало “Бюро ЦК”, а в подвалах, поговаривали, — сеть развлекательных услуг, негласно именовавшихся “Старой площадью” или “ЦК КПСС”. Расшифровывали последнюю аббревиатуру кто во что горазд — казино, порнуха, сауна, стриптиз и т. д., и т. п. Но судя по всему, место это было значное — на его дух, как мухи на навозную кучу, слетались не только торгашеская шелупонь, местные шлюхи, но даже и залётные штуркари — столичные бандюганы, валютные путаны и околовластные тузы.

И всё же это были ещё цветочки. Ягодки для Коли-Бесы начались позже. То был день, когда Кирыка в очередной раз зарулил на набережную, где гуртовалась флотилия его доходных дебаркадеров (“дебилкадеров”, как с подачи внучат называл эти лохани Коля). Поднявшись на верхнюю палубу одного из плавающих уродцев, Цыпель-младший велел подать подозрительную трубу. С детства любивший играть в “войнушку”, а в комсомоле курировавший “Зарницу”, Кирыка не оставлял своих увлечений и теперь. На флотоводца “времен Очаковских и покорения Крыма” он, понятно дело, не походил. Ражая физиономия с неукротимым юношеским румянцем, брюхо-пивняк, вываливавшееся из широченных, ниже колен шортов — ну, какой из него флотоводец! Скорее уж пират времен адмирала Нельсона, какой-нибудь Билли Бонс, тем более что и повадки у Кирыки были соответствующие: вперёд и на абордаж!

В тот день Цыпель-младший поднялся на верхнюю палубу, чтобы произвести ревизию прибрежных окрестностей. На акватории ничего заслуживающего внимания не оказалось — катера, лодчонки и прочая москитная мелочь. Перевёл окуляры на противоположный берег, и тут взгляд Кирыки наткнулся на красивый, солнечного цвета домик. “Купить!” — ткнул он пальцем своему бухгалтеру и велел послать на переговоры братков.

Зачем ему это нужно, Кирыка в тот момент не задумывался: хочу — и всё! Так у него повелось с детства. Любая игрушка тотчас ложилась к его ногам, любая прихоть незамедлительно исполнялась. И попробуй только кто осадить или урезонить, в угол поставить или ремнём пригрозить. Начиналась такая истерика, такое продолжительное катание по полу, что и маманька — директор ЦУМа, — и партийно-чиновный папанька, и дедка, бывший чоновец, только руками разводили: мальчик впечатлительный, ему надо уступать. И уступали. Потом стал уступать директор школы, где Кирыка учился. На все выходки цыпляевского отпрыска он тоже разводил руками. А когда в очередной раз получил исходящие сверху чиновные порицания, что не надлежащим образом исполняет директорские обязанности, то, дабы не потерять место, согласился потерять лицо. Это было, когда одноклассник Кирыки, отстаивая честь своей сестры, набил Цыпелю морду и за это, с согласия руководства школы, загремел в колонию. Уступали Кирыке почти всегда и почти во всём. Причём капризы его, его истерический характер доброхоты и подхалимы оценивали как сильную волю, а все прочие, не желая связываться, делали вид, что считают так. И в институте, и в комсомоле Кирыка шёл напролом, достигая того, чего хотел. А уже когда наступили времена необузданной вольницы, что хочу — то и ворочу, тут его натура развернулась в полную силу: Кирыка в пределах своей территории, коей считал областной центр, ни в ком и ни в чём не знал отказа.

На сей раз, однако, Цыпляева-младшего ждал облом. Переговорщики вернулись ни с чем: Коля-Беса на предложение о купле-продаже сказал “нет”.

Когда братки по приказу Кирьки принесли за дом полкейса долларов, Коля-Беса молча помотал головой. А в третий раз он вообще отказался от переговорного процесса, даже не удостоив визитёров взглядом. Тут Кирька приздумался. Разделаться с неуступчивым пескоструем ему было, как два пальца об асфальт: устроить замыкание электропроводки, сочинить взрыв баллона с газом, а то просто пустить “красного петуха”, подсунув в ответчики какого-нибудь бродяжку. Опыт был, причём опыт немалый — и жёг, и топил, всякое было. Но братки ещё на первой “стрелке” разглядели у Бесы на руке жиганскую наколку: такие давно не делались, но о них в фартовой среде помнили и с ними считались. Вот эта татуировка и попридержала Кирьку: мало ли! Однако отступать от задуманного он не привык, даром что уже и забыл, чего ради всё это затеял: то ли смотровую площадку устроить на левом берегу, чтобы издалека, втихаря контролировать службу на казиношных дебаркадерах, то ли ещё одно доходное место открыть? Это было уже не важно. “Коли гора не идёт к Магомету — Магомет сам возводит гору”, — заключил Кирька и повелел начать в заречье стройку. Сказано — сделано. На берег были протянуты трубы и начался намыв песка. Всё это происходило перед окнами Алтухиных. В считанные недели тут возник полуостров, а потом стали забивать сваи. Городские экологи, отозвавшись на жалобы и сигналы жителей левобережья, выступили с осуждением самостроя — дескать, изменение береговой линии нарушит состояние водной среды, искривит стрежень реки, затормозит выход льда и в половодье усилит подтопление низменных участков города. Однако протест их длился недолго — вскоре они умолкли. “Зелёных” убедили неподкупные взоры американских президентов, вззирающих с зелёных кушор. Такие же метаморфозы произошли вскоре с прокуратурой и ментурой. Красный свет, загоревшийся было на пути Кирьки, чудесным образом окрасился в цвет баксов. И *стройка века* закипела с новой силой.

Через год на левом берегу, как раз против центральной пристани вздулся, как чирый, трёхэтажный особняк. По архитектуре это было нечто громадное и безвкусное, как и многое из того, что теперь строилось, зато называлось оно заковыристо и всякий раз по-разному — то ранчо, то вилла, то патио. Над окружающей местностью новодел царил. Возвышаясь, точно Монблан, он горделиво и надменно взирал на окрестное мелкоростье тонированными окнами, а башенки и шпили его, казалось, и впрямь уходили в небеса.

Больше всего от навязанного соседства пострадали Алтухины. Чудовищная громадина перекрыла весь вид, которым они прежде любовались. Не осталось ничего — ни речного простора, ни набережной, ни силуэта города. А что осталось? Зады Кирькиного поместья: гаражи, бани-сауны, дровяники, погреба, сараи... Но это было ещё полбеды. Подлинной бедой стали для Алтухиных всевозможные аттракционы. Новоявленный сосед завёл механический зоопарк — эдакий домашний парк юрского периода. Тут обитали чудовищные динозавры, птеродактили, саблезубые тигры, а ещё обезьяна Кинг-Конг, а ещё жирафы, которые головами достигали уровня третьего этажа. Все эти образины дёргались, скрипя железными суставами, визжали, ухали и урчали. Но срамней всего выглядела механическая, пегой масти лошадь. Из нутра кобылы, когда она поднимала хвост, бесконечно лилась жёлтая струя, под которую Кирькины дружбань подставляли жбаны, поскольку это было пиво, а вместо дерьма вываливалась закуска — упакованные в целлофан карбонад, заливная севрюга, сервелат и баварские сосиски.

Помимо функций бистро-бара, кобыла выполняла и прямые обязанности — она превращалась в скаковую лошадь, правда, скакала, не сходя с места. По повелению Кирьки, сидевшего на веранде, в седло забирался очередной наездник. Его пристёгивали жёсткими ремнями, которые не позволяли ему вывалиться. Скорость скачки регулировалась дистанционным управлением, находившимся в руках у Кирьки. Провинившегося или не очень исполнительного братка хозяин отправлял в бешеный галоп, который, как и положено, назывался “алпур три креста”, пока тот не начинал орать благим матом, моля о пощаде.

По вечерам, велев запалить костры, Кирька усаживал в седло голых девиц — это у него называлось “доводить до кондиции”. Но самым зрелищным

в усадьбе Кирьки было шоу под названием “Культпоход на “Чапаева”. Причём Чапаева изображал не кто-нибудь, а собственный цыпляевский дед — на это ушлого внука, не иначе, натолкнули сабля деда и схожая фамилия.

Впавший в детство старпёр Цыпляев, видать, воображал себя юным чоновцем. Он охотно подчинялся Кирькиным приказам, тем более что Кирька для убедительности командирского образа облачался в чёрную кожанку и чёрные галифе с рыжими леями. Старика закрепляли в жёстком каркасе, который венчала железная рука с блестящей шашкой. А за спиной развевалась чёрная бурка — это была воздушная подушка, наполненная кислородом. Скоростей больших Кирька не задавал, остерегаясь, что дед их не выдержит, — тогда никакая кислородная подушка не поможет. Достаточно было лёгкой рыси, чтобы завести зрителей “народного кино” — Кирькиных дружанов, “тёлок” и “шестёрок”. Они ржали, как та самая механическая лошадь. А уж когда кобыла по команде Кирьки поднимала хвост и вываливала всё, что содержалось в её брюхе, зрители ложились впокатку. Гогот доносился, говорят, аж до правого берега. И чтобы глухой дед чего лишнего не услышал, Кирька врубал на всю катушку “Марш Будённого” или “Полюшко-поле”.

Глафира Алтухина, сидя у телевизора, глядела очередную “Изауру”.

— Смотрю в телевизор, где-ка, думаю, я — не иначе рай, а посмотрю в окно, там этот лихоимец. Нет, смекаю, — ад.

— Ад-ад-а-ад, — на мотив “Бесамомучо” бурчал Коля и время от времени косился на свою обтёрханную кубаночку, висевшую на почётном гвозде. В его седой голове что-то шаяло, но что — ему и самому пока было не ясно.

Как-то сидели Коля с Глафирой, играя в “подкидного дурака”, и вспоминали прошлое.

— Скоко робили — и всё зря, — подытожила Глаша, помянув потерянные в результате большого демократического грабежа сбережения. Стали считать. Коля потерял не одну тогдашнюю “Волгу”. В гараже Глаши машин было бы поменьше, но тоже не одна. Стали переводить свои потери на стоимость хлеба. Ржаного да пшеничного выходило столь много, просто ешь — не хочу, что они не смогли представить, сколько понадобилось бы для перевозки буханок хлебных фургонов — целая автоколонна выходила. Тут вернулся с работы Артур. Он трудился на судоремонтном заводике, а ещё подрабатывал грузчиком на рынке.

— Чего делим-считаем? — осведомился сын. Старики объяснили. Артур заинтересовался, приплюсовал к их потерям свои, да ещё сгоревшие накопления жены. Через посредство хлебной цены, старой и нынешней, перевели утраченные сбережения на новые деньги. Получилась умопомрачительная сумма. Особенно их зацепила цепь нулей позади первой цифры, они напоминали клубы дыма от счастливого мультяшного паровозика. Глаша от вида потери часто-часто заморгала. Артур ударил пудовым кулаком о ладонь. А Коля насупился и глянул за окно. Там нагло сверкал окнами цыпляевский особняк. Тень от него накрывала их маленький садик, где в беседочке сидели внучата. И до того Коле-Бесе стало горько от вида сидящих в тени внучат, что он аж застонал.

Тёма рос умницей. Задачи по физике и математике щёлкал, как семечки, трижды на областных олимпиадах побеждал, разбирался в микросхемах, знал толк в компьютере. Надо его учить, двигать после школы в институт, учитель физики советует — в столичный, а на что учить, коли средств нет?..

То же самое и Дашутка. У неё художественные наклонности, в студию ходит, альбом с красками есть, но как быть дальше? Глядя на внучку, Коля всякий раз вспоминал образ её бабушки, той несчастной, пропавшей в тайге. Дашутка пошла в неё, красота была древняя, видать, собранная многими поколениями. Подрастёт ещё немножко — бриллиантом засверкает. Одеть бы вот только...

\* \* \*

Мысли о будущем внука и внучки не давали Коле покоя. Но подтолкнуло его к решительным действиям не это. Оказывается, красотой расцветающей Дашутки любовались не только родители да дед с бабой. На неё

положил глаз вооружённый подозрительной трубой Кирька, который бездельно посиживал на веранде и озирали окрестности. Девочка при нём гуртовалась не мерено. Но его потянуло на свеженькое. Вот он и дал команду своим мордоворотам, чтобы они доставили Дашутку перед его линиями очей. Чувствуя свою безнаказанность (у них же всё схвачено — и ментовка, и прокуратура, и суд), эти абреки не стали даже ничего придумывать. Они решили перехватить Дашутку, которая возвращалась из студии, прямо возле дома. И быть бы, верно, неминуемой беде, да ангел-хранитель не допустил святотатства. В ту пору на перекрёстке как раз оказался Дашуткин отец. Бывший десантник, Артур разложил стервятников на многочлены, поломав кому руку, кому ногу, а кому и то, и другое разом.

Вот после этого Коля-Беса и понял, что более терять времени нельзя, ожидание неведомо чего — смерти подобно.

— Будя! — изрёк он, надевая свою линялую, обтёрханную, но по-прежнему боевую кубаночку. Лицо его при этом напряглось, сам он подобрался, напряжился.

Есть такая порода людей. Кто ломал на передке войну, кто перемог-пересилил лагерь, одолев колымские морозы или пекло Туркестана, тот словно получил в дар ещё одну жизнь. Крепкие, калёные, сухие, со стороны кажется: кожа да кости, но тронь такого — с места не сдвинешь, скорее он своротит любого. Вот таким, черпанув полной мерой военного лиха да зёковской житухи, стал и Коля-Беса. К своим без малого восьмидесяти он был поджарый и подвижный, словно подросток, а глаза его из-под кубаночки сверкали неукротимым молодым огнём.

На “совет в Филях” собрались вдвоём: Алтухин-старший и Алтухин-средний. Третьим тут незримо присутствовал старший лейтенант Шелест, названный в честь Овода, борца за справедливость. Выдержав необходимую паузу, Коля-Беса бросил на стол рекламную газетёнку, где был запечатлён банк Кирьки и где находилось его подземное гадючье гнездо, и сказал так:

— Нельзя ждать милостей от уroda, взять у него награбленное — наша задача! — И показал, откуда лучше начать подкоп.

Артур в идею бати особо не верил, однако доверял ему всегда и ни на миг не усомнился, что затеянное справедливо.

Рекогносцировка показала следующее. Бетонный забор, некогда окружавший военный объект, после ликвидации воинской части растащили. Это было ещё до Кирьки. Охотники до дармовщинки всегда найдутся. В итоге главный коллектор, вынесенный на зады бывшего КП, а теперь “Бюро ЦК”, оказался доступен. Удачей было и то, что с одной стороны он изрядно зарос диким малинником. Дабы улучшить маскировку, Коля решил потратить несколько ночей и посадить вокруг колодца неприхотливого мелкого ивняка.

Под землю, вскрыв люк, отец с сыном спустились в ночь с воскресенья на понедельник. Опившаяся Кирькина клиентура к той поре впала в анабиоз, а охрана, уставшая пляться на пьянь-гулевань, тоже дремала. Подземный тоннель, как Коля и предполагал, вывел их под стены бункера. Главную трубу трогать было нельзя — могла произойти авария, а стало быть, всё дерьмо — Коля имел в виду не только фекалии — пойдёт наружу. Сверлить бетон решили подле. Коля осмотрел отгиски опалубки. Там, где отпечатались не доски, а короткомер, швырок, по его опыту, было самое уязвимое место. Так, наверное, оно и было. Однако попотеть им всё же пришлось.

— Сюда бы аммоналу! — мечтательно прохрипел однажды Коля, утирая со лба пот, и сам же осёк себя: — Не время...

Артур, главная тягловая сила, работал старательно, а всё же без охотки. Затея казалась ему старческой причудой, блажью. Но он и слова не сказал поперёк, во всём привычно соглашаясь с батей.

Бетонную перемычку они пробуравили за полтора месяца. Дальше пошла порода — глина да супесь. Штольню копали в разное время, в том числе и днём, но выработку выносили только ночью, топя её в недалёком прудке. По мере продвижения ставили стойки, чтобы — не дай Бог! — не произошло обрушения. К середине августа достигли капитальной стены. Но прежде чем приступать к штурму, камеру подле неё расширили настолько, что можно было вставать в полный рост даже Артуру.

И вот настал день “Ч” — буква в данном случае не имела ровно никакого значения, просто так понравилось Коле. В свете “летучей мыши” холдно и непреступно мерцал бетонный монолит. Угрюмо глядя на серый панцирь, Артур впервые не удержался:

— Это можно раздолбать только прямой наводкой, да и то не всяким снарядом.

— Кумулятивным, — с законной рабочей гордостью подтвердил батя, однако при этом не выразил ни тени сомнения. Больше того, он даже улыбнулся:

— Не бздэмо, сынок! Нет таких крепостей, чтобы их не взяли русские...

На эту реплику Артур не отозвался. А поведение бати его насторожило. Тот молча и долго глядел на стену, словно норовил пронизать её взглядом, и при этом как-то загадочно улыбался. Уж не повело ли его? — обеспокоился Артур.

Меж тем, Коля достал складной нож. Поцарапав лезвием бетон, он сделал небольшой сколыш, ощутил его, подержал на ладони и даже зачем-то пошохал.

— Аха! — наконец удовлетворённо сказал он. Затем не спеша поднял голову и, выразительно посмотрев на сына, опёрся о стену рукой. Рука была одета в брезентовую рабочую рукавицу. Она выделялась на сером свинцовом фоне светлым пятном. Это пятно словно заворожило Артура, и всё же боковым зрением он кое-что заметил. Батя упёрся, напряжился и даже сделал всем корпусом толчок. От того, что произошло следом, у Артура аж челюсть отвисла — в монолите образовался пролом.

— Ну, батя, ты гига-ант! — вытаращил глаза Артур. — Ни фиги себе! — И от неожиданности даже сел.

Восхищение сына Коля-Беса принял благосклонно и с достоинством аристократа, хотя мысленно и усмехнулся.

Эта дыра была наследием советской эпохи. Комплекс КП ударно завершался в тот год, когда почил Леонид Ильич. Торопясь сдать объект к годовщине революции, что сулило премии и ордены, начальство решило отказаться от второстепенного, по его мнению, блока — автономного отсека дегазации и дезактивации. “А как же быть с отводкой?” — показали строители на специально оставленное круглое отверстие. “Забетонировать!” — последовала команда. Забетонировать — так забетонировать, дело привычное, был бы бетон да время. Но ни того, ни другого в резерве не имелось. И тогда про-раб, человек инициативный и решительный, вдвоём с бригадиром, то есть Колей-Бесой, заделали это отверстие на скорую руку и тем, что оказалось под рукой: куски арматуры, бетонная крошка, осколки плитняка и даже пенопласта. Размышлять было недосуг — приёмная комиссия уже по отсекам ходила. Едва успели замазать ту заплату да подсушить воздуходувкой. Потом, уже когда объект сдали, получив премиальные и награды, была мысль поправить халтуру, дабы не пострадала обороноспособность державы. А ну как хлынут льяльные или подземные воды? Но у вояк ведь как в те поры было: не успели обустроиться, обжиться, как уже поступил приказ сворачиваться, нужда в КП как возникла, так и отпала. Даром что на стройку были ухлопаны огромные деньги, сопоставимые с расходами на сооружение приличной ГЭС. Но когда это министерство обороны считалось с расходами! Деньги казённые, а значит, ничьи. Это же не из своего генеральского кошелька извлечённая сотня!

Вскрыв капитальную стену, взломщики Алтухины уверенно проникли в глубь бункера, благо Коля-Беса наизусть помнил все закоулки, которые самолично возводил. И...

## ЭПИЛОГ

Замели отца и сына на следующий день. Взяли Алтухиных со всеми экспропрированными сокровищами ещё тёпленькими, отсыпавшимися после столь успешно проведённой операции. Ментовка, поставленная Кирькой на уши, нюхала и рыла не за страх, а за бабки, ибо самому сообразительному и находчивому тот посулил ни много ни мало, аж миллион. Самым сообразительным оказался, понятно, начальник горотдела, никуда не выходящий из своего кабинета, — что значит дедуктивный метод!

Всё, казалось бы, едва начавшись, вернулось на круги своя. Кирька мог быть доволен — подкоп под его империю провалился. Но не тут-то было! Он жаждал главного. Таким супер-призом должна была стать Даша, внучка Коли-Бесы, как дань за его, Кирькины, треволнения. А она куда-то исчезла. Исчезла бабка, пашенок и эта девчонка, которую Кирька уже считал своей.

Каждый день Кирька приходил в камеру к Коле-Бесе и методично избивал его, выколачивая признание, где прячется внучка. Перекуривал, менял перчатки, кастеты — и снова бил. А Коля молчал. За последние пятьдесят лет Бесу столько дупцевали, что шкура его задубела. О зубах он не думал — зубов у него давно не было. А душу он держал возле себя на мягком поводке, давно готовый отпустить на волю.

Застонал Коля-Беса уже тогда, когда в его камеру притащили сына. Большой и матерущий, как медведь, Артур походил теперь на тюк бесформенной ветоши. Руки и ноги его были переломаны в нескольких местах и белели костями. Он пытался ими закрываться, но от тщетных и судорожных усилий ещё больше кричал и скулил. Видеть и слышать такое было нестерпимо. Но докonal Колю-Бесу победный клич Кирьки: “Нашли, говоришь? — орал он в мобилу: — Ну, так не медля её в моё бунгало! Мухой, говорю!” Вот тогда душа Коли-Бесы и отлетела.

*Как вам нравится такой финал? Не нравится? Мне тоже. Да и какой нормальный русский человек, для которого главная опора в жизни — справедливость, такое вытерпит! Справедливость у нас, русских, — превыше любых юридических крестиков-ноликов. Именно она — наш основной родовой закон. А потому...*

## НАСТОЯЩИЙ ЭПИЛОГ

Вскрыв капитальную стену бывшего КП, взломщики Алтухины уверенно проникли в глубь бункера, благо Коля-Беса наизусть помнил все закоулки, которые самолично возводил. К той поре у новых русских наступил бархатный сезон. Прикрыв доходную лавочку на месячный уик-энд, банковско-казиношная кодла во главе с Кирькой укатила на Багамы. Так что осваивать открывающийся лабиринт Алтухиным никто не мешал. Сигнализацию они нейтрализовали своими силами. А дорогу к главному сейфу им проложил Артёмка. Не вдаваясь в подробности, Артур приносил сынку сфотографированные блоки и узлы электроники, и юный Кулибин на своём компьютере прощёлкивал их, точно заурядные игры-стрелялки.

Главный сейф открылся, как пещера Али-бабы, даже заветного “Симсим” не понадобилось. Коля с сыном аж присмирели.

— Да, сынок, — сказал Коля, — был я по малолетке щипачом, на старости лет эти суки медвежатником стать заставили, — и, сняв кубаночку, огладил выгоревший верх.

Помимо денег, Алтухины забрали из сейфа налоговую документацию. Артур глянул — там система: рубль пишем, тыща себе — и запихал всё в мешок. Деньги они сложили у себя в подполье. А документацию направили по назначению, да не в областные органы, где всё схвачено и все со всеми повязаны, а в столицу — чести там тоже нет, так хотя бы за орденки да чины рыть будут.

Затянувшийся бархатный сезон позволил Алтухиным завершить операцию не спеша и с умом. Всё убрали за собой, подчистили и окончательно ушли, не оставив после себя никаких существенных улик.

Хищник, как оценил Коля-Беса атаку ОМОНа на доходное место, прошёл с фейерверком. От шумовых гранат, сирен и дымовухи дежурный охранник чуть дуба не дал. Через пару дней в СИЗО доставили из аэропорта всю Кирькину шоблу — загрузили под завязку аж пять “воронков”. А потом началось следствие.

Подкоп столичные сыскари, само собой, обнаружили. Однако как взломщикам удалось так аккуратно вспороть бетон — понять не могли. Это же как лобзиком по циркулю вырезано. Высказывались предположения о новых методах дробления молекулярной решётки; о том, что в бетоне, как и в стекле,

есть точка, на которую нажми — и всё рухнет; вспоминали про круги, которые оставляют на полях НЛО. Догадок было много, но ответа не находилось. Тогда из Москвы вызвали бывшего прораба, который теперь работал в строительном НИИ. Тот потоптался у круглого отверстия, с умным, соответствующим его положению, видом пожал плечами, поцокал языком (*тайна сия велика есть!*) и молча удалился. Да и то: не мог же он признаться, что эта дыра — его, бывшего прораба, и бригадира Николая Алтухина рук дело!

Во время следствия внезапно загорелся и сгорел дотла — так был грамотно подождён — Кирькин особняк. Коля-Беса к этому делу отношения не имел. Это либо мстили, либо подчищали следы Кирькины компаньоны-подельники. Дольше всего горели длинноногие жирафы, напоминающая какую-то картину. Ядовитый чад стлался по округе несколько дней.

— Над всей Испанией безоблачное небо! — загадочно воскликнул Коля, когда дым пожараща, наконец, рассеялся и отшаяли последние головешки. Из окон Алтухиных вновь открылся речной простор и живописная панорама города.

— А дебилкадеры-то где?

Дебаркадеры-уродцы куда-то исчезли, у главной пристани их не было. Оказалось, что их тоже пустили на распыл: часть сгорела, а часть затонула.

— Андели! — радовалась Глафира. — Хорошо-то как! — и не отходила от окна, любуясь вновь открывшимся видом и напрочь забыв про телевизор.

\* \* \*

Когда разговоры вокруг крушения Кирькиной империи поутихли, прошло следствие, закончился суд, и все сёстры, а прежде всего, разумеется, братки, получили по серьгам, то бишь по железным браслетам, Коля с сыном спустились в подвал. До этого баулы с деньгами они не раскрывали.

— Однако, батя, кажется, перебор — лишку взяли, — заключил озабоченно Артур, окинув толстенные пачки валюты и рублей.

— Да ты чё, сынок? — ласково укорил его Коля. — Разве мы одни такие, лохи кинутые? Почитай, весь честной люд ограблен! Выручать надо соотечественников, дух русский крепить...

— А что делать-то? — развёл свои ручищи Миша-Артур.

— Как что, сынок? Технику покупать будем, ходы подземные рыть... Фирма "Дети подземелья". Как тебе?

Артур перевёл глаза на баулы, потом снова уставился на батю. Но Коля не стал дожидаться ответа. Прихлопнув свою боевую кубаночку, как это делал лейтенант Шелест, названный в честь Овода, борца за справедливость, он внезапно запел:

*Беса ме, бесамучо...*

Голос Коли в подполье звенел. Стальные зубы пощёлкивали, как кастаньеты. А из глаз его рвалось озорство. И чтобы скрыть это не совсем уместное для своего возраста чувство, Коля сдвинул на самые глаза кубаночку, точно это было аргентинское сомбреро или шляпа Боливара:

*Кому сэйфэр эстанучи лаути ди маве.*

*Беса ме, бесамучо...*

*Кети гомеда тенет ипэрдэте дупсэ...*

.....

***Поздравляем нашего постоянного автора  
Михаила Константиновича Попова  
с 70-летием!***